

ПЕЙЗАЖ ПРИ РАССЕЯННОМ СВЕТЕ

Сумеречный талант Виталия Пуханова

Независимая газета. — 1998. — 29 дек. — с. 7

Павел Белицкий

ЛЮБАЯ классификация — та же метафора: в обеих царит архитектура подобию и соотношений. Поэтому простое утверждение, что поэты, как и погода, бывают ясные и бывают пасмурные, не лучше, не хуже любого другого. Ясные — не в смысле «внятные», пасмурные — не то же, что «темные». У «темного» Малларме — бесконечный торжественный полдень, и все в блеске «золота» и «лазури», абсолютно внятный Ходасевич — и в «Молодости» почти погружен уже в смурную и желчную «Европейскую ночь»...

Разговор здесь не о доступности или недоступности речи напрямую, логически четкому и членящему ее на *сему* и *рему* разумению, но о такой для поэзии сущности, и при этом трудно формулируемой штуке, как интонация.

Музыкальная терминология подошла бы тут не вполне — *мажорный-минорный* не совсем то же, — ни одну из минорных скрипичных сонат, например, или «Мессу си минор» Баха пасмурной не назовешь...

Дело в «настроении» того смурного, условно говоря, пейзажа, который при чтении стихов неизбежно возникает в воображении, пейзажа, собственно с содержанием этих стихов, может быть, и не связанного, но именно этому поэту, в отличие от поэта другого, присущего и органически свойственного. Впрочем, надо оговориться, что возникает этот пейзаж, похоже, тем явственней, чем меньше в стихах «стихов», и больше того, что, как известно, «дышит». «Почва и судьба» в нем — оси координат. Назвать их можно и какими-нибудь другими словами, но важно, что здесь все-таки не кончается искусство, а, наоборот, именно тут оно только-только и начинается. Потому что пейзаж этот — уже не стиль, не манера, он — среда обитания и поэзии, и поэта.

Поэт, мыслящий метафизически по определению, говорит о

нем как о «шуме», «ритме», «музыке», которые приходят до слов. Филолог, пытаясь категорически вычленив его из текста, называет его «поэтика»... Как ни назови, главное то, что оно предвзято, существует до текста, до слова и во многом их предопределяет, просачиваясь в синтаксис, наполняя его живой интонацией, как влага наполняет волокна, превращая полую форму, структуру в живой организм... Этот залог состоятельности поэта — собственная интонация, изнутри окрашивающая текст и в нем сохраненная (но отнюдь не формальная новизна, понимаемая, как внешняя, поверхностная, наружная оригинальность самого текста), — и есть то пространство, где сражаются смысл и адекватность смыслу, переставая уже быть просто «содержанием» и «формой», но становясь сущностью, и если есть в поэзии то, что называется «тайна», то оно *осуществляется* здесь.

Поэтика Виталия Пуханова, о котором, собственно, речь, на мой взгляд, — поэтика одновременных стойкости и бессилия. Его голос, почти лишенный какой-либо яркой интонационной окраски, можно было бы назвать усталым и монотонным (последнее стало характерной чертой «культурной», преимущественно «петербургской» поэзии), если бы не звучало в нем приглушенное, исподвольное какое-то дребезжание странноватой, пасмурной, но все же живой души, живой — способностью к состраданию, которое у Пуханова оказывается вдруг едва ли не одной из главных мотиваций его поэзии, что в вышеупомянутых уже «культурных» стихах обычно отсутствует напрочь.

*Психиатрический больной
В тиши больной заповедной
Делился тайнами со мной.
Я повторял: «О бедный,
бедный!»*

*Совсем как нерожденный стих,
Замученный в беззвучном теле,
Он был для жизни слишком тих.
Три года не вставал с постели.*

*Но говорил, суров и строг,
Что он пророк и принц
наследный.
И знает Имя, смысл, и Срок.
Я повторял: «О бедный,
бедный!»*

Вроде бы нет в этих стихах ничего особенного, банальный четырехстопный ямб, которым с помощью невыдающихся сравнений и образов рассказана банальнейшая история про сумасшедшего с наибанальнейшим бредом. Но интонация речи, в которой слышится как-то пасмурная, слержанная мелодия стоицизма, уводит смысл сказанного в смурную и тревожную глубину, туда, где в человеке колеблется темное сострадание, как густо и плавно колеблются водоросли в темной воде.

Пуханов — поэт не темный, но именно пасмурный. Он совершенно внятн на уровне собственной речи, другое дело, что не внятно само существо жизни, о котором он пытается говорить, не внятно родина под ногами, ее народ и речь этого народа. Так невнятн пейзаж при рассеянном свете. «Где-то есть еще русское поле. / Не удержившись, стоя на нем. / Тает белая сталь на припое / И антоновым греет огнем. // (...) Со своей нерадивой мечтой — / Жить трудом и погибнуть в бою, / Я шатаюсь по русскому полю, / Как последний в разбитом строю. // Мы уйдем без земного поклона / Чужеродные звезды стеречь. / Не дари мне последнего слова — / Я забыл тебя, русская речь». Сонный дымок энтропии пропалит его стихи, как табак — пальцы курильщика, но уже тем, что сама энтропия стала источником того волевого акта, которым творится поэзия, она оказывается преодолена, — что не более парадоксально, чем Гераклитово: «Их смертью они живут, их жизнью они умирают», — о чем, впрочем, это говорил античный философ, я не помню...

Кстати, об античности:
*Шесть пехотинцев разило копьё
Ахиллеса,
Прежде чем те успевали, мечи
обнажая,*

*Левой ногой заступит
на поляга навстречу.
Я был четвертым из них, и,
сползая по древку, <...>
Я говорил, обреченный:
Слава тебе, Ахиллес-
победитель; целую
Нежную пятку твою...*

Это тоже стихи Пуханова. Я сознательно выбрал для примера не лучшее, на мой взгляд, стихотворение, которое возникло, видимо, в период студенческого освоения античной литературы, и так и было бы, как и сотни подобных опытов, бессознательно создаваемых первокурсниками Литературного института, антологическим опусом, если бы не то же шемящее дребезжание, возникающее в его последних строках, и тот же, принципиальный, на мой взгляд, для поэтики Пуханова мотив высокой, героической даже, заурядности («я был четвертым из них») и стойкого, если не сказать, стоического, бессилия, все же дающего пример именно *нежной*, не бестианской любви к собственной судьбе: и в рождении, и в жизни, и в смерти...

Странноватость своеобразного голоса Виталия Пуханова, или, если уж продолжать ряд, серость пейзажа, в котором он существует, та его бесцветность, которая бывает, когда невозможно определить время суток, может быть, еще возникает и оттого, что стихи Пуханова почти абсолютно лишены примет времени и места. Формально они могли быть написаны триста лет назад («За свадебным столом теряет силу яд. / Ткут туютовые черви твой наряд. / А век спутая их земляные братья / Тебе откроют скользкие объятия. / И мысль последнюю, что нас переживет, / Прозрачный червь небесный обовьет»), сто лет назад, («Германия, ты тоже одинока! / Но не у нас, не в Азии, не здесь. / С последней силой гибельную весть / Из века в век ты пронесешь жестоко»). Но они написаны сейчас, они странн образом абсолютн современных, и вот в этом, видимо, секрет поэтической интонации вообще и собственной интонации Виталия Пуханова в частности...